



Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ

Литература и жизнь

О книге г. Бердяева, с предисловием г. Струве,
и о самом себе

В истекшем году мои писания были предметом усиленного внимания критики. Разумею не те или другие отдельные мои статьи, из которых многие и прежде вызывали как очень благосклонные, так и очень неблагосклонные отзывы в печати, — в этом отношении я уж никак не могу пожаловаться на своих собратьев по перу — а всю совокупность моей многолетней литературной работы. Ныне именно она, а не та или другая статья в отдельности составляла предмет обсуждения в некоторых провинциальных газетах, и я пользуюсь случаем, чтобы выразить свою искреннюю, хотя и запоздалую благодарность как авторам этих статей, так и всем, вспомнившим меня в конце прошлого года. Но как ни был я тронут всеми этими неожиданными знаками внимания, я понимаю, что люди, вспомнившие меня в этот раз, естественно, подчеркивали лишь симпатичные им стороны моей деятельности. Было, однако, и несколько оценок, чуждых этой естественной в данном случае односторонности. Об одной из них, наиболее значительной по размеру и наиболее интересной по содержанию, я хочу побеседовать с читателями. Это — книга г. Николая Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском с предисловием Петра Струве». Работа эта затрагивает много чрезвычайно интересных и важных вопросов литературы и жизни, и «Русскому богатству» предстоит, может быть, еще не раз к ней вернуться. Как человек, лично слишком затронутый книгой г. Бердяева, я думал сначала в видах беспристрастия совсем уклониться от оценки излагаемых ею взглядов, предоставляя это другим, хотя бы их точки зрения и не вполне совпадали с моею. Но потом подумал, что

другие сами по себе, а некоторые стороны спора, поднятого гг. Бердяевым и Струве (читатель увидит, что спор, по мнению упомянутых господ, продолжающийся издавна, в сущности поднимается ими совсем заново), всего удобнее осветить именно мне.

Книга г. Бердяева оканчивается следующим «заключением»: «Объективная критика не оставляет камня на камне от мировоззрения г. Михайловского: субъективизм и индивидуализм должны уступить место другим направлениям общественной философии, но произведения нашего социолога-публициста действуют и до сих пор возбуждающим образом на мысль. Г. Михайловский превосходный будильник мысли, хотя его собственные решения вопросов могут внести значительную путаницу в головы читателей. Подводя итоги заслугам г. Михайловского, мы должны указать на следующее. Своим объективизмом он пытается утвердить самостоятельные права за этической точкой зрения, признав необходимость психологических предпосылок всякого социологического познания, он становится выше буржуазных социологов и *предвосхищает* классовую точку зрения на общественные явления. Таким образом, г. Михайловский ставит один из самых центральных вопросов общественной философии. Своим индивидуализмом он ставит другой вопрос общественной философии, вопрос об отношении личности и общества. Он решает его неверно, но защищает по своему дорогую и для нас человеческую личность, *предвосхищая* отчасти точку зрения критической философии, которая признает святость человека как самоцели. Г. Михайловский верно определяет незаконность вторжения биологии в общественную науку и буржуазную подкладку таких течений, как органическая теория общества и дарвинизм в социологии. Он понимает зависимость идеологии от общественной кооперации. Он *предчувствует* значение психологии для общественной науки и делает интересные попытки в области коллективной психологии. Но, конечно, прежде всего как блестящий, очень талантливый публицист, чутко отражавший лучшие стремления своего времени и ненавидевший врагов света, он займет подобающее место в истории русской литературы и общественности 70-х годов. Все это заставляет нас признать несомненное историческое значение за литературным противником того направления, которое нам дорого, и это уже можно сделать тем более спокойно, что его значение теперь только историческое. Направление, которому он служит, умерло, и новая мысль воздвигает на его развалинах свой храм».

Читатель благоволит обратить внимание на подчеркнутые мною в этой цитате слова «предвосхищает», «предчувствует». Эти и равнозначные им выражения много раз повторяются на протяжении книги г. Бердяева. Г. Михайловский «бессознательно предвосхитил правильную точку зрения» (с. 35); «мы находим у него места, которые позволяют нам сказать, что он очень близко подходит к той социальной точке зрения, на которой стоим мы сами» (38—39); «точки соприкосновения между взглядами г. Михайловского и нашими собственными бросаются в глаза» (44—45); «г. Михайловский предвосхитил ту великую истину, что для социального познания необходима специфическая психология» (59); «как и всегда, у г. Михайловского мы встречаем здесь кое-что ценное — он предчувствует истину» (106). И т. д. Мне кажется, что все это несколько противоречит начальным словам «заключения»: «Объективная критика не оставляет камня на камне от мировоззрения г. Михайловского». Мне кажется, что эта критика все-таки оставляет за мной высокую роль предтечи таких умов, как г. Бердяев, г. Струве и другие. Но и, помимо того, быть в течение не одного десятка лет «превосходным будильником мысли» своих соотечественников-современников до такой степени лестно, что, казалось бы, самое колоссальное самолюбие должно быть удовлетворено этим положением. И однако, в заключении г. Бердяева есть нечто необыкновенно горькое для меня.

Изо всех видов смерти самым ужасным всегда казалось мне быть заживо погребенным, умереть в гробу, в заколоченном гвоздями гробу, под толстым слоем земли, и я часто просил своих друзей каким-нибудь, хотя бы самым жестоким способом убедиться, что я действительно умер. А! Все мы там будем, в заколоченном гвоздями гробу, под толстым слоем земли, но почувствовать себя заживо погребенным и хотя бы самое короткое время тщетно биться и задыхаться, и ни для кого не слышно кричать, и с отчаянием и злобою кусать себе руки и рвать ногтями лицо — какой ужас! В такую страшную минуту не утешься лестною мыслью о былой роли превосходного будильника мысли или предтечи таких умов, как г. Бердяев, г. Струве и другие... А г. Бердяев предоставляет мне нечто в этом роде. Правда, он полагает, что мои писания «действуют и до сих пор возбуждающим образом на мысль», но вместе с тем заживо заколачивает меня в гроб, покрытый позолотой и блестящим покровом «исторического значения». Хороша эта позолота, роскошен этот покров, завидна вся эта помпа исторического значения, гарантирующая человеку «вечную память»...

когда человек действительно умер; но я согласен и на гораздо более бедные похороны... когда действительно умру. Г. Бердяев говорит обо мне в разных местах своей книги как о человеке, который не способен или не может понять то-то или то-то не по недостатку умственных способностей (их он за, мной в известной мере признает), а просто потому, что он покойник, труп, равно свободный и от понимания, и от непонимания. А вместе с тем он хоронит и то направление, которому я «служил» (в прошедшем времени!), и ему уже видится, как «новая мысль воздвигает на его развалинах свой храм»...

Г. Бердяев говорит с такою силою убеждения, что я начинаю осматривать и ощупывать себя... и к величайшему своему удивлению прихожу к заключению, что я еще жив и жив Бог, жива душа моя; а ища глазами храм, воздвигнутый «новой мыслью», замечаю именно развалины — развалины некоторого подобия Вавилонской башни, гордые строители которой разбегаются в разные стороны, потому что Господь Бог смешал их языки, так что они даже друг друга не понимают...

...Нам так часто, так сердито говорили, что мы клеветем на «учеников», упрекая их в фатализме. Оказывается, однако, что этот грех водится и за европейскими марксистами, а тем более за нашими, которые стараются копировать европейских; это и отмечает такой умный и беспристрастный поклонник — но не идолопоклонник — Маркса, как Зомбарт...¹ Обстоятельство это не ускользнуло от внимания г. Бердяева. Только он, по свойственной ему по отношению к правоверным мягкости, выразился так: «Некоторые ученики Маркса дают повод к фаталистическому истолкованию своих воззрений». На упреки в фатализме «ученики» обыкновенно отвечали либо голым отрицанием: нет, мол, мы не фаталисты, либо таким возражением: да кто же не знает, что историю делают люди? — Верно, что все это знают, знаете и вы, но эта всем известная истина не оказывает и не оказывала никакого влияния на ход вашей мысли. «Радостный прогноз» г. Бердяева весь построен на вере в естественный ход вещей, который неизбежно приведет человечество к счастью, хотя он и знает, что «в социальную законосообразность целиком входит волевая активность человечества, созидającego свою историю» (114). И вот почему (не только по этому, разумеется) г. Бердяев недоволен моими взглядами: я «нигде не говорю о том, может ли личность рассчитывать на

победу», «скептическая нотка всюду звучит» у меня, я «не ручаюсь за то, что именно личность победит естественный ход вещей, а не наоборот»...

Да, я не ручаюсь. Подобно Зомбарту я ввожу в свой прогноз условный элемент или, как он выражается, само собой подразумевающееся ограничение: если действующая личность будет обладать энергией принимать решения и стремиться к их осуществлению. «Если же вследствие каких-нибудь причин, хотя бы, например, вследствие (столь распространенного у марксистов) фаталистического взгляда, эта энергия уменьшится, то вместе с тем выпадет и важнейшее звено причинной цепи, и развитие примет совершенно иное направление. Подобно Зомбарту я считаю теоретически возможным, что развитие капитализма приведет к гибели всей современной культуры (некоторый, правда, очень слабый намек на эту возможность есть и в предисловии к «Капиталу»)». И те, выросшие на почве капитализма кроваво-красные и ядовитые цветы зверства и грабежа, которые так пышно цветут в настоящую минуту в Китае и Южной Африке и которые не компенсируются, конечно, платоническими овациями Крюгеру и бессильными словесными протестами против озверелости европейских солдат, — не таковы, я полагаю, чтобы позволительно было закрывать на них глаза³. И я опять вспоминаю доктора философии М. М. Филиппова, который никак не может понять конфликт между необходимостью и нравственным чувством⁴. Счастливый он человек. У него сердце бьется аккуратно, в такт истории, что бы в этой истории ни делалось... Да, я не могу предъяснить безоблачно-радостный прогноз. Но значит ли это, что я внушаю людям уныние или безнадежное отчаяние? Нет, я бужу в людях сознание необходимости и обязательности «борьбы за индивидуальность»...

Г. Бердяев богат верой. Еще богаче ею был старик Бебель⁵, когда говорил на Эрфуртском конгрессе 1891 года: «Я убежден, что осуществление наших последних целей так близко, что разве немногие из присутствующих не доживут до дня торжества». Честный старик давно признал свою ошибку.

А Каутский⁶ заявил на Эрфуртском конгрессе 1893 г., что осуществление последних целей немецкой социал-демократии было бы теперь величайшим несчастьем, потому что к этому люди еще не готовы. Таким образом, Каутский признает, как и Зомбарт, «действующую личность» важным историческим фактором. И пора бы нашим «ученикам» перестать бессмысленно издеваться над лавровской теорией «критически мыслящей личности».

Русские субъективисты, которые так «надоели» г. Бердяеву, никогда не отрицали причинной связи явлений и значения внешних объективных сил, каковы, например, географическое положение той или другой страны, данный общественный строй и т. п. Не только не отрицали, а настаивали на этих истинах, когда нынешние «ученики» еще, может быть, и в гимназию не бегали. Но вместе с тем они настаивали и настаивают на великом значении того, что Зомбарт называет «неотъемлемым субъективным свойством действующей личности» и в чем «ученики» видят или видели *une quantité négligeable* *. В этом состоит первое и наиболее общее различие между субъективистами и объективистами. Отсюда вытекает и второе: субъективисты утверждают право и обязанность личности судить о явлениях истории и действительности не только в их причинной связи и с объективной точки зрения их необходимости, а и с субъективной точки зрения своих идеалов право и обязанность нравственного суда. Это право и эту обязанность гг. Бердяев и Струве ныне вполне признают. Но они недовольны «обыкновенной» этической точкой зрения, она им «надоела». Они жаждут «необыкновенного» и, разумеется, находят его. Посмотрим же, что удовлетворило их жажду, что они нашли.

Г. Бердяев приводит три оправдания, или «обоснования», своего идеала.

«Во-первых, — говорит он, — наш идеал общественный *объективно необходим*: тенденции социального развития таковы, что общественный строй, который мы считаем своим идеалом, непременно наступит или будет неизбежным результатом *имманентной законосообразности* исторического процесса. Таким образом, идеал получает объективно-логическую научную санкцию, которая позволяет бодро смотреть вперед» (63).

Это обоснование мы уже видели. Точнее сказать, мы его на деле не видели, а слышали только фактически не оправданные слова о научном прогнозе. Пойдем дальше.

«Во-вторых, социальный материализм дает субъективно-психологическое обоснование идеала: идеал общежития, совпадающий с научным предвидением, оказывается *субъективно-желательным* для определенного общественного класса, и этот класс борется за его осуществление».

На этом пункте мы должны остановиться несколько подольше. Он тесно связан с известным положением о классовой борьбе как сущности исторического процесса. Положение это

* Ничтожно малую величину (*фр.*). — А. Е.

не то что неверно, а требует значительных дополнений, с одной стороны, и ограничений — с другой: столь значительных, что совокупность их отводит собственно борьбе классов сравнительно очень скромное место. Во-первых, и в нашей, и в европейской литературе давно уже было указано, что рядом с борьбой классов, и часто совершенно извращая ее, существует борьба рас, племен, наций. Если, например, калифорнийские рабочие всячески гонят иммигрирующих китайцев, принадлежащих к тому же рабочему классу, или если французские рабочие недовольны конкуренции более дешевых итальянских рабочих и т. п., то это, конечно, не классовая борьба. Далее, по признанию самих марксистов, было время, когда общество не делилось на классы, и будет время, когда деление это исчезнет, и, однако, история не останавливалась и не остановит своего течения, но она не была и не будет борьбой классов за их отсутствием. Один итальянский писатель остроумно замечает, что история есть несомненно борьба классов, когда 1) классы есть, когда 2) их интересы антагонистичны и когда 3) они сознают этот антагонизм. А это, прибавляет он, приводит нас в конце концов к тому юмористическому уравнению, что история есть борьба классов... когда она есть борьба классов» (*Croce Benedetto*. «*Matérialisme historique et économique sociale*». Tr. par A. Bonnet, 138)⁷. Наконец, и внутри классов происходит борьба между соперничающими индивидуумами, часто становясь поперек дороги классовой борьбе. В целом из всего этого сплетается такая сложная сеть, в которой совсем уж не так часто можно усмотреть чистую сознательную классовую борьбу. Интересны в этом отношении скорбные замечания Бебеля о росте социал-демократической партии в Германии: «За последние годы (Бебель говорил в 1894 г.) мы значительно увеличились количественно, но, говорю прямо, не улучшились качественно. Дело зашло так далеко, что в наших решениях принимают участие элементы, хорошенько даже не знающие, чего хочет наша партия и что значит социализм... Я не могу отрицать, что наша партия разжижается, что она вступает в оппортунистический фарватер, что классовая борьба бледнеет... Дабы привлечь новых сторонников, делаются уступки во все стороны, затирают чисто пролетарский характер партии и часто прячут требования классовой борьбы в карман» (см.: *Simkhowitsch Wl. Die Krisis der Socialdemocratie*. 43)⁸.

Но не будем увлекаться в сторону и вернемся ко второму обоснованию г. Бердяева. Как бы то ни было, оно вводит в его работу субъективный элемент. И в этом отношении г. Бердяев

выражается столь определенно, что один из сотрудников «Жизни» имел, по-видимому, право сказать, что он, равно как и г. Струве, «возвращается к автору борьбы за индивидуальность»...⁹ Мимоходом сказать, нынче распространилась какая-то эпидемия «возвращения»: «возвращаются» или приглашают возвратиться — кто к Канту, кто к Фихте, к Лассалю, к Ланге, это очень характерно в том смысле, что люди, очевидно, в тупой переулочек забрались. В самом деле, г. Бердяев говорит, например: «Вместе с г. Михайловским мы принимаем *субъективизм*, психологическое а priori, как неизбежный факт; психологический объективизм, бесстрастный взгляд на борьбу общественных групп, мы считаем теоретической иллюзией, фиговым листом, которым слишком часто прикрывается “субъективизм” самого низменного сорта. Ни простой смертный, ни ученый не может быть нравственной *tabula rasa**; так называемый общественный индифферентизм, которым теоретики любят иногда гордиться, это только ведь *façons de parler***», совершенно индифферентный человек — психологический *non sensus*, под индифферентизмом всегда скрываются определенные чувства, симпатии и стремления» (46—47). И много еще подобных слов говорит г. Бердяев, и все эти слова суть вариации на тему, много лет тому назад мною данную; вариации иногда немножко пересоленные, иногда недосоленные, а иногда представляющие собою почти дословное повторение... А! Я, кажется, могу успокоиться, хотя г. Бердяев и утверждает, что его критика «не оставляет камня на камне в моем мировоззрении». Но это тоже своего рода *façons de parler* — кое-какие камешки все-таки остаются. И любопытна история вот этого камешка субъективизма. Мы ее сейчас увидим, а теперь нас ждет третье обоснование идеала г. Бердяева.

Это третье обоснование он называет «объективно-этическим». «Необходимо показать, что наш общественный идеал не только объективно необходим (категория логическая), не только субъективно желателен (категория психологическая), но что он также объективно нравствен и объективно справедлив, что его осуществление будет прогрессом в смысле улучшения, словом, что он общеобязателен, имеет безусловную ценность как должное (категория этическая)». Здесь и лежит основание той необыкновенной этической точки зрения, которую г. Бердяев желает установить. Нельзя, однако, сказать, чтобы она

* Чистая дощечка, чистый лист (*лат.*). — А. Е.

** Обороты речи (*фр.*). — А. Е.

была так уж необыкновенна, как это кажется г. Бердяеву. В истории мысли она заявлялась не раз, заявлялась иногда с чрезвычайным шумом и блеском, и затем шум утихал, блеск меркнул. И г. Бердяеву приходится, как и многим уже не новым, а новейшим людям, «возвращаться». Для своей необыкновенной этики он ищет основания в «законодательстве сверхиндивидуального сознания трансцендентальной апперцепции», в той области, где лежит абсолютная истина, абсолютное добро и абсолютная красота, в том, что «предшествует всякому бытию»... Я не вхожу в эту область, я не знаю, что было до всякого бытия (вероятно, потому что «из другого теста сделан»); да, признаюсь, меня туда и не тянет: по нашему ограниченному условиям бытия и, конечно, неверному представлению, там, где никакого бытия, то есть ровно ничего, нет, должно быть ужасно холодно, темно и скучно. Притом же, если бы я даже очень хотел проникнуть в эту область, я все-таки не знал бы, кого взять в руководители: г. Бердяева или г. Струве.

Г. Бердяев противопоставляет субъективизму объективизм «абсолютного—трансцендентального», которое состоит в логических и этических нормах, предшествующих всякому бытию. Но вместе с тем он отрицает бытие «абсолютного—трансцендентного». По поводу одного моего рассуждения о гетевском Фаусте он пишет: «Фауст был действительно разбит жизнью, его метафизическое мышление было мучительно и не привело к удовлетворительным результатам, но Фауст будущего не поступит великими вопросами, он не станет воздерживаться от их решения и не понизит качества своих исканий; сын лучших времен — он поймет, что неразрешимые вопросы, над которыми бился прежний Фауст, были просто неправильно поставлены, нелепы, фиктивны, что абсолютное—трансцендентное недоступно человеку только потому, что его нет, что оно было созданием человеческой слабости» (186).

И на этой же странице находим два примечания. Одно из них гласит: «Абсолютное—трансцендентальное (логические и этические нормы) мы, конечно, признаем, это совершенно соединимо с отрицанием онтологического абсолюта». В другом примечании, между прочим, читаем: «Если вытравить дуалистические элементы из кантианства, то мы приходим к имманентной монистической философии. Теория познания и этика Канта дают незыблемые абсолютные основания для нашей познавательной и нравственной деятельности, но наше познание и наша нравственность применимы только к миру явлений, за которыми скрывается лишь абсолютное ничто. Трансценден-

тальная философия уничтожает окончательно трансцендентную философию».

Таков взгляд г. Бердяева. Он решительно не удовлетворяет г-на Струве. Г. Струве «указывает на слишком узкое понимание объективизма у самого Бердяева» (VIII). «Субъективному методу или, общее, субъективизму,—говорит он далее,—необходимо, на мой взгляд, противопоставить решительный объективизм, признающий объективность, т. е. обязательность, не только за формальными элементами родового сознания, но и за его содержанием» (XV). Изложив затем свою «чисто аналитическую теорию познания», решительно отличающуюся от нормативной теории познания большинства немецких критиков, которая построена на формальной аналогии объективного познания и объективного долженствования, г. Струве продолжает: «Тогда как г. Михайловский хочет возвести естественный субъективизм эмпирического субъекта познания в закон и таким образом субъективировать познание, нормативная гносеология насильственно объективирует нравственность, перенося на должное объективность, качество истинного или сущего. Бердяев очень удачно критикует субъективизм с точки зрения нормативной теории познания, но его собственное построение объективной нравственности по аналогии с объективным познанием подпадает всецело под нашу вышеразвитую критику» (LI). И далее: «Заложенная в самом нашем сознании самостоятельность должного указывает его источник вне опыта, его не имманентный, не эмпирический, а трансцендентный характер. Переход “от того, что люди считают добром, к тому, что есть добро” (Бердяев, 77), есть выход из области опыта и постулирование трансцендентного. Я вообще не понимаю, как может Бердяев, стоя на почве априоризма и идеализма, отмахиваться от метафизики трансцендентного. Неужели признание нравственного миропорядка, этой, как прекрасно выражается Бердяев, религиозной идеи, не есть метафизика трансцендентного?» (LIII). И еще: «Здесь есть полная аналогия между религиозным сознанием в обычном смысле слова и сознанием этическим. Ни один научно образованный человек не может верить в опытную или логическую, вообще объективную доказуемость бытия личного Бога. Но тем не менее убеждение в бытии личного Бога есть один из видов убеждения в существовании объективного и разумного миропорядка» (LIV).

Итак, подождем, пока гг. Бердяев и Струве решат промеж себя, что именно предшествует всякому бытию, только ли абсолютное—трансцендентальное или и абсолютное—трансцендент-

ное. В ожидании мы можем и в пределах бытия выяснить кое-какие недоразумения. Они есть, эти маленькие и доступные разъяснению недоразумения.

Гг. Струве и Бердяев — решительные объективисты, хотя и препираются об основаниях объективизма. А между тем выше мне довелось похвалиться, что они признают мой субъективизм. Что же это значит? Это значит, что в моем субъективизме заключаются «гносеологическая ложь и психологическая правда», как выражается г. Струве. И любопытно, что это относится не только ко мне, а и к «ортодоксальному марксизму». Г. Струве говорит: «Г. Михайловский всегда совершенно правильно отстаивал самозаконность этической совести, о которой столь часто забывают ортодоксальные марксисты, но его субъективный метод требует сознательного подчинения истинного (совести интеллектуальной) должному (совести этической), а так как этическая совесть общественного человека, как справедливо указывал еще до марксистов г. Михайловский, в общем есть продукт его общественно-классового положения, то этим через посредство этической совести устанавливается та же самая зависимость интеллектуальной совести от классовой точки зрения, на которую нападает ортодоксальный марксизм. Ошибка и г. Михайловского и ортодоксального марксизма состоит в возведении социально-психологического факта в гносеологическую норму» (XXIV).

Действительно, когда «ученики» с чрезвычайным великолепием поучали меня «классовой точке зрения», противопоставляя ее моему «субъективному методу», они, можно сказать, пальцем в небо попали. Но думаю, что, поучая меня теперь «внеклассовой, общечеловеческой точке зрения» (XXIV), г. Струве тоже пальцем... только в другое небо попадает.

Поразительны упорство, легкомыслие, тупость—я не знаю, наконец, что,— с которыми люди повторяют иногда друг за другом одно и то же обвинение, даже не упоминая о тех разъяснениях, которые были много раз предъявлены. Вот хоть бы это утверждение г. Струве, что будто мой субъективный метод требует сознательного подчинения истинного (совести интеллектуальной) должному (совести этической). Еще г. Струве милостив. Он, по крайней мере, признает, что я указал несомненный «социально-психологический факт»...

Приступая к оценке моего субъективизма, г. Бердяев делает в высокой степени лестное для меня замечание, что я «бессознательно предвосхитил правильную точку зрения»; он «видит положительную заслугу г. Михайловского в том, что он так энергично и настойчиво подчеркивал эту (субъективизм) несомненную истину». «Субъективизм г. Михайловского, — продолжает он, — если и не решает, то, во всяком случае, ставит вопрос, который совершенно игнорируется буржуазными социологами вроде Спенсера, Гумпловича¹⁰ и т. п., вообще оказывается малодоступным для академической науки». Сделав в подтверждение ряд выписок из моих сочинений, г. Бердяев заканчивает их заключением: «Точки соприкосновения между взглядами г. Михайловского и нашими собственными бросаются в глаза». Но это еще более лестное для меня замечание относится только к *субъективизму* как указанию на несомненный социально-психический факт, с которым нельзя не считаться, а отнюдь не к субъективному методу...

Первое, чему г. Бердяев ставит отрицательный знак в субъективном методе, это — логико-грамматическая нескладность термина: «В нелепом словосочетании “субъективный метод” — с существительным, имеющим чисто логический смысл (метод), согласуется прилагательное, имеющее смысл исключительно психологический (субъективный)». Указание это кажется г. Бердяеву столь важным, что он его подчеркивает — печатает разрядкой. Позволительно, однако, сомневаться в столь большой важности этой нескладности. Термин «субъективный метод» принадлежит Конту, которого, кстати сказать, упрекали и за варварское сочетание греческого и латинского языков в слове «социология», что не помешало, однако, этому слову войти во всеобщее употребление, и к которому даже строгий г. Струве относится с известной, хотя и минимальной долей уважения («третировать Конта в качестве философского ничтожества и смешно, и несправедливо», VII). Это, положим, еще ничего не значит. «Нелепости» г. Бердяев находит даже у Конта, к которому питает глубочайшее уважение. Но вот, например, г. Бердяев полагает, что словосочетание «научный идеал» логически не лучше «субъективного метода», и, однако, разрешает себе и своим единомышленникам сохранить его, «так как оно имеет для нас своеобразное значение» (64). На этом самом основании, может быть, и мне не поставится в незамолимый грех употребление термина «субъективный метод». Да и что, собственно, нелепого в сочетании существительного, имеющего логический смысл, с прилагательным, имеющим смысл психо-

логический. Надо заметить, что термин «субъективный метод» употребляется не только Контom и русскими субъективистами (не всеми, — г. Кареев¹¹ его не признает). И сам г. Бердяев, подивившись этой нелепости, через несколько страниц пишет: «Существует наука, в которой субъективный метод получил право гражданства, это — психология. Все выдающиеся психологи нашего века признают недостаточность одного объективного метода для разработки психологической науки и необходимость метода субъективного, метода самонаблюдения» (84). Как видите, здесь сочетание существительного «метод» с прилагательными «субъективный» и «объективный» не шокирует г. Бердяева. Правда, в дальнейшем изложении г. Бердяев безразлично употребляет выражения «субъективный» и «психологический» для обозначения метода, обязательного для психологии, но, я думаю, сказать, что в психологии должен применяться психологический метод, — значит сказать столь же мало, как потребовать для истории исторического метода, для физиологии — физиологического, для химии — химического и т. д., то есть ровно ничего не сказать.

Но дело, конечно, не только в грамматических соображениях. Приведя несколько выписок из разных мест моих сочинений, г. Бердяев говорит. «Такое понимание субъективного метода может иметь методологическое значение». И далее: «Психологический (то есть субъективный) метод имеет место и в социологии, и поскольку г. Михайловский нам на это указывает, он совершенно прав. Социальный процесс должен быть истолкован психологически, т. е. в терминах внутреннего опыта. Ни одно историческое явление не будет для нас понятно, если мы не поймем той человеческой психики, тех человеческих мыслей и чувств, которые скрываются за всяким историческим явлением». Все это так, но, говорит г. Бердяев, все это «не имеет ничего общего с нравственной оценкою явлений... Субъективный метод в психологии, с точки зрения г. Михайловского, должен быть признан нравственно индифферентным и в этом смысле объективным» (84, 85).

Итак, субъективный метод не только имеет свой *raison d'être* *, но прямо-таки необходим в психологии, а в виде психологического метода необходим и в социологии, но он не должен иметь ничего общего с нравственной оценкою явлений, он должен быть нравственно индифферентным. Меня очень радует, что г. Бердяев признает обязательность субъективного или,

* оправдание (*фр.*). — А. Е.

пусть, психологического метода в социологии. Имя вещи не меняет, и, становясь в эту позицию, г. Бердяев вместе с тем, во всяком случае, становится в ряды субъективистов в том общем смысле, что наряду с внешнею силою «имманентных законов экономического развития» и т. п. признает значение и человеческой психики, значение мотивов человеческой деятельности. А субъективистом в смысле признания неизбежности «психологического а priori» он уже раньше себя объявил. Вместе с тем он признал, притом в чрезвычайно энергических выражениях, обязательность нравственного суда над явлениями действительности прошедшей, настоящей и будущей, насколько мы можем в нее проникнуть. И вот я не знаю, как сочетать все это с объективизмом. Если связь эта достигается в сфере абсолюта, предшествующего всякому бытию, то, как уже сказано, я туда не вхож. А в пределах бытия дело обстоит, мне кажется, так: то «психологическое а priori», или то «предвзятое мнение», с которым мы неизбежно, как соглашается г. Бердяев, приступаем к изучению явлений общественной жизни, содержит в себе и этические элементы; давление этих этических элементов на ход исследования опять же неизбежно, но это давление, часто происходящее помимо сознания, должно быть регулировано; и так как метод есть путь, которым мы сознательно идем к определенной цели, я называю это регулирование субъективным методом.

